

— Т —

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

(Тайшетской пересылка, октябрь 1958-го года)

...Началась обычная, взвалмошная, вечерняя жизнь камеры. Шум, гвалт, полно табачного дыма, не прдохнуть... Я достал из чемодана второй, ещё нечитанный томик Брюсова (первый том я оставил дома), раскрыл, где попало, читаю с пятого на десятое... лишь бы ничего не видеть, не слышать, не нюхать парашу... Ко мне тотчас же прыгнул человек с почерневшим лицом и, сверкая новыми, очень крупными металлическими зубами, спросил:

— Что читаешь?

— Да вот, стихи Брюсова.

— Какой том?

— Второй, а что?

Вместо ответа он метнулся на нижние нары, покопался в своей торбе и подсел ко мне с первым томиком Брюсова, второй том — он сразу же сказал — "улетел" за пачку чая. Познакомились, Романом его звали. Он тут же начал быстро листать книгу и тараторил без умолку, что очень любит Брюсова и тут же зачитал наизусть несколько известных стихотворений, почти не заглядывая в книгу.

— А Черепова ты читал?

Я признался, что впервые слышу это имя. Роман орангутангом нырнул вниз и довольно долго пропадал в полутёмных пропастях нижних нар, ползая по людям. Появился он с другого конца нар с замуленной тетрадкой. И зашептал мне:

— Нашёл... не хотели давать... сам понимаешь... Черепов — первый поэт всего Озерлага... отец — генерал в Москве, а сын здесь сидит... измена Родине... полный четвертак... уже 10 лет сидит... всё по карцерам да штрафнякам... сейчас на Чуне... такие стихи пишет!... вот послушай!

Роман неистово листал заветную тетрадь, нашёл нужное место.

2

- Вот послушай, называется "Окно", но совсем о другом, сильнейшая вещь!

Окно.

За ним бездонный мрак.

Пристынешь лбом к льденящий бездне.

Ком памяти зажмёшь в кулак.

И сердце в накипи болезней.

И упадёшь...

- Понимаешь...это значит...в общем, слушай дальше, значит, упадёшь

В покой свистящий,

Как был: в белье, от боли бел,

Весь вне себя, весь будто спящий

Или идущий на расстрел.

И упадешь...

В покой свистящий,

Как был: в белье, от боли бел,

Весь вне себя, весь будто

Или идущий на расстрел.

- Понимаешь, человек сходит с ума в тюремной камере, в оди-

ночке...

И кто-то схватит

За горло, чтоб не кричал,

Земля уйдёт— пятно средь пятен—

В твою смертельную печаль.

Тихо полползли ещё двое— слушать. Они заняли два пустующих места

вокруг моего чемодана. Роман продолжал:

И где-то близко у предела

Ты тихо разожмёшь кулак,

И память с сердцем, каплей белой,

Падут навечно. В тайну. В мрак...

И где-то близко

Ты тихо разожмёшь

И память с сердцем

Падут навечко в тайну.

Я ошарашенно слушал его свистящее завывание, стараясь вникнуть.

Роман мне втолковывал:

- Ты пойми...это же шедевр!.. не хуже Брюсова!.. да что там

Брюсов!.. Ну кто ещё мог так сказать: "И память с сердцем каплей

белой падут навечно"...это же гениально: КАПЛЕЙ БЕЛОЙ !!

Я посмотрел на окно нашей камеры. Да, там за решёткой, за разбитыми стёклами и в самом деле чернел бездонный мрак. А здесь...

Я остро почувствовал себя запертым в сумашедшем доме, а кругом лес...

- ночь. Но люди...люди топали, курили, разговаривали, горела лам-

почка... можно было ещё жить...

Вдруг Роман завыл, заметался. Оказывается, зуб сильно заболел, под коронкой... Один из приползших к стихам, Петро, достал махорки, другой любитель стихов, Николай, скрутил цигарку, прикурил её где-то поблизости и всунул в рот Роману. Тот принял усилино курить. Не помогло... Узнав, что у меня ещё с воли хранится флакончик одеколона, он попросил покапать на зуб. Капал, капал... да и выпил весь флакон. Сразу полегчало. Успокоившийся, размягший, он признался нам, что сам пишет стихи. И тут же начал декламировать:

Изжить, избыть истому сердца,
Изгнать из дум, забыть тебя,
Надеть скафандр, в броню одеться,
Бежать, крича, моля, кляня....

Обнять скалу и так забыться,
Уснуть до Страшного Суда,
Не будет сердце больше биться,
Я все забуду навсегда...

Гранит всосёт сердечный трепет,
Скала подарит мне покой,
Погаснет солнце в чёрном небе,
Мир разольётся надо мной.

Лишь там, в беззвёздной пустоте
Твой будет взор гореть во тьме.
Но не во мне,
В скале...

Кончив читать, Роман вперился в меня: "Ну как?" Я сразу сказал, что это замечательные стихи, даже очень. Петро и Николай тоже похвалили Романа.

После этого стихи полились уже рекой... Николай "приколол" меня и читал мне свои недавно написанные стихи про тюрьму:

Моргнула дверь,
Открылось око,
Мохнатый зверь
Взглянул циклопом...

Роман, ещё более почерневший и весь взволнованный, взял в оборот Петра:

...Одна слеза, как перед казнью,
Из глаз нежданно упадёт
И после взор навек погаснет,
И обоймёт всю душу лёд.

Когда же Глас Предвечный грянет
И все восстанут для Суда,
На сердце заживут все раны—
Я вас забуду навсегда...

Николай заканчивал своё стихотворение о тюрьме:

...Упал глазок,
Циклоп ослеп.
Помилуй, Бог,
Наш склеп.

Теперь хрипел только голос Романа:

...Когда же призовет к ответу
Меня Всевышний Судия,
Ему скажу: "Я жаждал света..."
Но я не вспомню про тебя.

Теперь все мы трое смотрели на Романа. Аж дух захватывало: так высоко он забирался...куда там Брюсову...

...Скажу и протяну к Престолу,
Не помня что, когда, к чему,
Без чувств, без дум, без слёз, без стона
Окаменевшую слезу,
Ту...

Затих Роман, окаменели мы. Здорово у него получилось, ничего не скажешь! Видя, что его стихи произвели впечатление, Роман просиял, закрыл тетрадь и затораторил:

- Говорят, что лагерные стихи сам Евстигнеев любит читать...

Черепова уважает...и вообще говорят, что Евстигнеева часто в Иркутском театре видят...

И вновь взвыл наш поэт и вновь заметался по нарам, как бешеный. У него снова зуб заболел. Курение не помогло, одеколона не было. Обезумев от боли, Роман схватил мою ложку и её краем начал срывать коронку. Сорвал её самым зверским образом и тут же засыпал больной зуб махоркой. Полегчало...

* Евстигнеев-начальник Озерлага.

Вниманием овладел Петро. Он достал из-под себя совершенно новую книжку и начал нам рассказывать, что это - томик "Избранного" знаменитого украинского поэта Олеся, ранее запрещённого, а теперь вот изданного. Петро прочёл несколько стихотворений Олеся, всем понравилось. Я сказал, что Олесь - ну прямо Блок, только украинский. Возникла мысль: вот сейчас, не сходя с места, перевести хотя бы одно стихотворение на русский. Ведь это так легко! Выбрали одно, самое "крамольное". Начали! Петро читает вслух по-украински, мы втроём переводим, удачную строфу записываем в тетрадку. Целый час бились, получилось такое:

Дай руку, мой ветер крылатый!
Я внемлю призывам души!
Там братья дерутся за волю,
Прощай и меня не держи!

О море, мягкое море,
Последний привет мой - тебе!
Там братья со скалами бьются
И гибнут в неравной борьбе!

Молчите, крикливы чайки!
Не плачьте в просторах морских!
Как чайки, кричат мои сёстры
над трупами братьев своих.

Прощай же, родная природа!
Навеки прощай и прости...
Ты знаешь, час пробил и сына
Погибнуть достойно пусти...

Хорошее стихотворение получилось! И со смыслом! Все смотрели друг на друга радостно и гордо. Перевод явно удался! Переписали новоиспечённый опус в свои тетрадки. Петро тоже переписал, только вместо "...со скалами бьются" - после некоторого раздумья - поставил "...с карапами бьются", более литературное "москали" никак в размер не влезало.

- Почитаем ещё Черепова, - предложил Роман и тут же начал:

Нет, Богу моему не нужно поклоненье,
Зачем оно Отцу?
О, пытка псалмами! Возносятся куренья
К сожжённому лицу.

Идут закатами великие скитальцы,
Платя земную дань.
Соединяются в перстъ расплющенные пальцы,
В гвоздях, сожмётся длань...

Замигала лампочка, напоминая, что скоро отбой. Роман наскоро до-
читал стихотворение.

В глазах Истории горящие распятья,
Немея, узнаю.

Кому из нас дано сказать им внятно: "Братья?"
Кому? В каком краю?..

Пора расходиться. Вечер поэзии закончился. Роман, держась за щё-
ку, уполз вниз, в своё логово, а мы, улучив момент, вклинились в
камерный хоровод. Перед сном надо хоть немного походить, пораз-
мяться...

—1—
II
7

ВАЛЕНТИН СОКОЛОВ ЧИТАЕТ "ГРОТЕСКИ"
(Дубравлаг, л/о № 7, 31-го декабря 1963 г.)

В зоне кипит предпраздничная суэта. Зэки готовятся к встрече Нового года, прячут в самые потаённые места ножи, ножницы, лезвия к безопасным бритвам, пачки чая и всё другое — неподложенное. Знают зэки, что под Новый год шмон очень основательен, и идёт обычно в два приёма: сначала часов в восемь вечера и за полчаса до Нового года — ещё разок.

Ждём шмона и мы, учителя — зэки лагерной школы... Два надзирателя пожаловали днём, обошли все классы, заглянули во все закоулки, постояли в учительской, поговорили с вольными учителями. Напоследок велели открыть физический кабинет... Зашли, стоят, смотрят по сторонам и наблюдают за мной... куда я метну свой взгляд — там и искать надо. Но я упорно смотрел только в окно. И никуда больше. Надзиратели вяло взялись за своё дело: открыли шкафы, лазили по полкам, что-то требовали достать открыть... Ещё постояли, понаблюдали ещё за мной и ушли. Пронесло! Сразу отлегло от сердца! Трёхлитровая банка с готовой брагой из яблочного сока стояла в коробке с глобусом на самой верхней полке шкафа. Пронесло

Сразу же пришел ко мне литовец, мой напарник по браге, издали наблюдавший за шмоном в школе. Я улыбался, он сразу понял: всё в порядке! Я запер дверь на ключ и мы тут же поделили брагу пополам. Он в битончике унёс свою долю в литовскую компанию. Свои две фляжки я решил забрать позже, в школе сейчас они были в полной безопасности.

х х х

В суете время летело быстро. Давно уже стемнело. Пора перепрятывать брагу... Взял обе фляжки, зашёл в сушилку. Никого... Быстро снял свой бушлат, засунул по фляжке в рукава, рукава заправил в карманы. Посмотрел со стороны: вроде бы незаметно... И быстро пошел в другую сушилку, где был намечен званный вечер со встречей Нового года... Издали слышен шум, дверь открыта, народу полно! На ближнем конце стола украинцы жрали сало со сковороды. На дальнем конце стола лагерный умелец резал узор на крышке шкатулки. Все галдят, курят... В одном углу

курили "план". Совершенно жёлтый зэк по кличке Японец уже "плыл", два других "догоняли" его. В другом углу раскинул свой мольберт лагерный художник и красками рисовал портрет Валентина Соколова, великого лагерного поэта, который восседал посредине стола в окружении трех поэтов и трёх почитателей.

Болтали... Болтались... Смеялись над художником: ничего у бедняги не выходило.

Вскоре умелец утомился, сложил в коробочку свои, разрешенные начальством резцы и ушёл. Троица накурившихся "плана" незаметно исчезла. Украинцы решили повторить сало и ушли всем гуртом в кочегарку. Поднавалило наших...

Сидим, галдим, чего-то ждём...

Наконец, Леня Лучко показывает всем флакон одеколона "Гвоздика". Ага, вот в чём дело! Леня отвинтил пробку, приложился к флакону и передал его соседу. Флакон пошел по кругу. Запахло дешевой парикмахерской. Сразу же принесли огромную сковороду жареной картошки. Начали есть ложками, пошли разговоры, что одеколон, конечно, дрянь, но лучше, чем ничего. Тут я исчез на пару минут, принёс бушлат и скромно доложил честной компании, что имеется и кое-что получше.

- Что? - неслось на меня.

- Водка? - шепотом предположил кто-то.

- Я одеколона больше пить не буду, даже "Красную Москву", - за-
капризничал один из поэтов.

Все смотрели на меня. Я не спеша достаю из рукава бушлата флягу, отвинчиваю пробку и даю соседу. Теперь все смотрят на Леня Лучко. Тот делает глоток, глаза его сразу делаются добрыми и весёлыми, он подмигивает и... незаметно делает второй глоток. Это было уже противу правил. За столом смолчали, но художник всё же высказался, что, мол, тут фраеров будто бы нет, а колымских законов наша зона не придерживается... Фляга пошла по кругу. Внущение художника было молчаливо принято, никто больше не делал колымских глотков. Все наслаждались настоящей брагой и кляли одеколон... Доели картошку. Ещё раз посмеявшись над художником, попросили Соколова что-нибудь прочесть. Тот отнекивался. Тут я достаю

вторую фляжку. С радостным гоготом выпили и её. Теперь уже я сам попросил Соколова прощать что-нибудь. Валентин резко обернулся ко мне:

- Это ты, Сосна, всё подстроил?

Я промолчал...

- Валька, ну прочти что-нибудь новенького, виши, ребята просят...
когда ещё соберёмся, - подал голос из своего угла художник:

Валентин курил и молчал. Посмотрел на нас всех и вздохнул:

- Эх вы, кони вы, кони... почитай им! Новенького захотелось! А
кто из вас понимает в поэзии?

За столом зашумели поэты, что, мол, не слишком ли он высоко берёт, что не один он на свете пишет... Валентин переждал шум и сказал:

- Ну а если по-настоящему, кто? - и обвёл всех серёзным взглядом.

Сам же и ответил:

- Никто...

Все молчали. Стало неловко. Художник глумливым голосом проверещал:

- Получается, Валька, что ты один сам себя понимаешь...

- Да, я один, - глухо обрубил король лагерных поэтов.

Повисла тягостная тишина. Художник вновь разорвал тупик:

- Валька, дождёшься ты... когда-нибудь отступят тебя за беспредел...

Валентин спокойно вновь посмотрел на всех нас.

- Тебя били? - толкнул он в бок соседа-поэта.

- Нет, - ответил тот.

- Нет?

Это плохо.

В этом кроет секрет

Эпоха, -

пресёк ненужный разговор Валентин своим известным эпиграфом к поэме, все сразу поняли, что он будет читать свои знаменитые "Гротески".

Он не спеша закурил, уставясь в потолок, сделал несколько глубоких затяжек, медленно перевёл взгляд на стену и, глядя поверх наших голов, начал:

В черном траурном конверте
Мне явилась мысль о смерти,
И явилась
Жизнь, что в танце окаянном,
В дальнем ломанно-стеклянном
Заблудилась...
Что там было?..

Валентин сделал паузу... И уже скорей захотелось заглянуть туда..
Он там был, в страшных сталинских лагерях... Как Дант в своём Аду,
Валентин видел

Мрак тюрьмы и люди-черви
В узком каменном стакане.

Вызывают на допросы
Бьют и целят зубы выбить

Так я начал.
Начал серые сказанья
Наказанья.
Голубые приключенья
Заключенья...

И уже захватила всех гармония стиха, сыпались жестокие вопросы
и жестокие ответы:

Вам наручники известны?
Неизвестны.
Карцер-гроб сырой и тесный?
Очень тесный...

Расправляется с жизнью-песней
Карцер тесный.

Валентин перевёл взгляд со стены на стол и все мы вслед за ним
уставились к столу. Поэт ссутулился и вскрикнул сдавленным голосом:

Дико, это, дико, дико!
В неземном каком-то блеске,
В громовой лавине крика -
Угловатые гротески.
Вдаль ведомые колонны,
Лай людской и лай собачий,
И посёлок стооконный
И тоской тысячетонной
Небо в серых струях плача...

И снова вскрикнул Валентин, ещё горше:

Дико это, дико, дико!
Там на вахте мёрзнут трупы,
А в столовой в миске супа
Взглядом жадным ищет круп,
Человек большой и чёрный,
Скорбной мыслью омрачённый
Полутруп.

11

И невозможно уже было пошевелиться. Что-то тёмное, невыносимо тяжёлое навалилось на мои плечи... не вздохнуть... Но вот сменилась интонация... Новый этап жизни, поэт вышел на волю:

... Водку начал пить без меры,
Но за мной пришёл в пивную
Злой свисток милиционера.

И опять предельно - жутки
Стали трезвые кошмары,
Сутки всовывались в сутки,
Словно в пыльные футляры...

И ещё один удар получил Валентин от жизни на воле: ни он не мог полюбить, ни его... по-настоящему. Поэт исповедовался перед нами:

В синем шёлке
Романтических иллюзий
Был я попросту нелепым.
Я вошёл. Меня не ждали.
У окна в простом овале
Чёрным крепом
Был отмечен
Чёрный вечер...

Нигде не может найти себе места Валентин в советской действительности тех лет. И вот он уже снова стоит перед заветными дверями, лагерными воротами:

... Принимай этап, начальник,
В зону, в мёртвые объятья.
Наши лица в формулярах
Пролистай - отдай в спецчасть их.

Там их пальчики приколят
К голубому стержню боли,
Кем-то скрытому в ненастях,
В злой нёвole,
В злыx несчастьяx...

Всех поразила удивительная поэтическая находка Валентина... успели переглянуться... блестели глаза... и застонали, завибрировали в нас "голубые стержни боли"... У меня сердце замерало, слёзы навёртывались на глаза..."Голубые приключения" поэта продолжались, повторялись..

- Здравствуй, зона!
Ты душё глоток озона...

И опять я, и опять я
В ваши грубые объятья,
Как в проклятьe...

Да, Валентин вновь оказался в своём родном доме, в советском концлагере, вновь он пришёл к родственным душам, чтобы разделить их

судьбы, чтобы не оставить нас одних...

Принимаю судьбы ваши,
Понимаю,
И дыханьем пальцы ваши
Согреваю...

Тише, вкрадчивей рыданья –
Скоро зори,
Скоро зори щедро хлынут
В ваше горе...

Голос Валентина звенел, глаза горели дивным вдохновением:

И растает ваше горе,
Да, растает! –
Что до неба вырастает.
Да, растает!
Скоро зори щедро хлынут,
Зори! Зори!

Голос обрвался на щемящей ноте... Все смотрели на Валентина...

Озарение поэта передалось и нам. В этот миг все верили: да, хлынут зори... Великая магия поэзии...

... Валентин, уже ссугулившийся и потухающий, смотрел на какую-то точку на столе. И все мы, не дыша, смотрели туда же... В наших душах продолжали петь его ЗОРИ, невесёлые, несбыточные...

Точка на столе...

Как от неё оторваться?..

Валентин разогнул спину, откинулся, закурил. Очнулись и мы. Говорить никто не смел, да и не мог, я думаю. Моё горло сдавливало непонятная судорога. Скорей на воздух!

Не говоря ни слова, все вышли на мороз. Ночь. Ярко светит луна. Высокие заборы, кругом колючая проволока, отвратительные силуэты караульных вышек. Не спросишь у часовых, Новый год пришёл и к нам в зону, в "мертвые объятья"... Мы быстро разошлись по баракам...

В сушилке остался один Валентин. Он курил... Он смотрел на какую-то точку на столе...

Мюнхен

Борис Сосновский